

КАЖДОГО ИЗ НАС создается свое собственное впечатление о тех, кто когда-то поразил твое сердце книгой, музыкой, картиной. И, пожалуй, самые сильные впечатления — давние, относящиеся к молодым годам. Если они остались, даже пусть не в деталях или мелких подробностях, а обобщенно, как сгусток эмоций и мыслей, — значит, это было действительно явление не из общего ряда, а самостоятельное, не похожее на другие. У каждого из нас есть такие зароненные в сердце с детства или юности зерна искусства, давшие уже позже зримые плоды образа. Советский кинематограф, что называется, с первых своих шагов оставил в памяти такие явления, прошедшие проверку временем не только календарно, но и глубоко чувственно.

Какие бы фильмы я ни смотрел прошедшие десятилетия, а все в зрительной памяти передо мной широкая украинская степь и посреди нее — почти мифическое зрелище — высоко поднятый на носилках сраженный батык Боженко... Или колося золотого поля, которое вобрало в себя емкое название «Земля». Или два кровных врага, встретившихся для последнего расчета, два старых друга, ставших по разную сторону этических высот времени, из «Аэрограда». Все они перед глазами, и кажется, я видел все только вчера, ничто не отделяет меня от этого первого потрясения — ни годы, ни события времени, ни само время. Я не знаю, где я все это видел, в каких условиях, кто был со мной рядом, но виденное помню и ощущаю постоянно.

И, конечно, у меня возникло свое представление о художнике, создавшем эти произведения. Да, да, это неторопливый, мало разговаривающий и много думающий человек. Человек, впитывающий в себя все, что определяет жизнь людей, их страсти, сильные характеры, их привязанность к земле, по которой они привыкли ходить с малолетства; их увлечения и горькие заблуждения, порой приводящие к роковому концу. Он не объективист, но не поддается малодушному компромиссу со своей совестью для того, чтобы умягчить сильные стороны врага или чрезмерно увеличить образ того, кто ему дорог, в ком есть и частица его собственной души, клочок души, словно лава. Он романтик, но не витающий над землей, а стоящий на этой грешной и чистой земле плотно, словно навеки прирос к ней. Характеры его героев обобщены и в то же время предельно конкретны, каждый из них имеет свой взгляд и свой голос...

Наверно, к этим выводам приходишь не сразу, особенно если не встречался с этим художником на жизненных дорогах. Но когда б они ни приходили, они приходят. И, переступив рубеж времени, вдруг начинаешь понимать, что все, что ты видел на экране в данном случае, является не просто кинофильмом, но и книгой, и музыкой, и картиной одновременно.

Все эти мысли пришли ко мне не сразу. Годы они формировались в размышлениях о литературе и искусстве. И тот первый миг, когда я увидел Александра Петровича Довженко вблизи, вдруг даже как будто ступил это огромное впечатление от того, что я ранее видел на экране. Просто сидел за одним из редакционных столов редакции газеты «Известия» седой человек в очках и внимательно читал сверстанную полосу. Он был сосредоточен и не обратил ни малейшего внимания на журналиста в военной форме, заглянувшего в комнату, в которой и этот журналист обычно так же сидел за тем же столом и так же вычитывал свои материалы. Но это было не совсем так же... Что-то напомнило все же один из появившихся в довоенной прессе снимков этого человека. Только до войны лицо его было хотя и серьезным, но не таким сосредоточенным и суровым. И до этой встречи я уже

читал на страницах «Известий» выступления Александра Довженко. Читал и удивлялся редкостной компактности мысли, сбитости характеров, своеобразности речи героев Довженко, в эти военные дни как бы переселившихся с экрана на газетные полосы. Так мы впервые встретились с Александром Петровичем. Я бродил по коридору с влажной еще, только что тиснутой полосой, где стоял какой-то мой материал... И вдруг дверь комнаты открылась, и Довженко вышел в коридор.

— Я занял ваше место? — спросил он глуховатым голосом. — Вот сидел и думал, нет ли чего лишнего в написанном? Каждый раз так... Каждый раз... Пожалуй, — вдруг сказал Довженко, через открытую дверь указывая на освободившийся стол.

Потом встречи в редакции повторялись неоднократно. Много раз мы выходили вместе на Пушкинскую площадь навстречу снежному ветру —

раз видел этот фильм и всякий раз уходил потрясенный, как и после всех бессмертных доженковских фильмов; потрясенный величием духа мичуринского характера. Надо было быть истинным и очень земным поэтом, чтобы так крупно и сосредоточенно следить за движениями души, раскрыть эту ищущую душу, одержимость человека и ученого.

Вероятно, это произведение предполагалось не для легкого и шумного успеха. Не знаю, наверно, это очень ассоциативно, но где-то неотступно следовала за тобой мысль о тождественности образа Мичурина и его создателя, лепившего кадр за кадром вместе с превосходным актером. Невозможно было отрешиться от мысли, что в этот образ, в сущность этого образа вложена глубоко личная сердцевина, так естественно обращался художник со всем, что составляло основу фильма, — любовь ко всему живому, презрение к смерти, гимн вечной развивающейся жизни. Наверно, сохранилось и закрепилось ощущение этой тождественности еще и потому, что в память врезались многие встречи с Александром Петровичем в Подмоскovie, в дачном городке писателей Переделкине, где Александр Петрович построил необычную для дачных жителей дачу. На краю дороги, оградой своей соприкасаясь с лесом, дом Александра Довженко и Юлии Ипполитовны Солнцевой меньше всего подходил к даче. Деревянный, просторный, с широкими окнами, с невысоким сельским частоколом, он был отделен от образа самого Довженко. Уже очень скоро небольшой участок, примыкавший к дому, усилиями самого Александра Петровича и Юлии Ипполитовны превратился в цветущий сад. И это уже не просто эпитет.

— Я уже подумал за вас... Я подаю вам яблони и сливы... А сажать и выращивать их вы будете сами. Вы готовы к этому?

— Готов, Александр Петрович.

— Я очень рад за вас, Тихон Захарович.

...И уже вскоре зацвели на участке Тихона Семушкина плодовые деревья.

Поздней осенью, когда золотая листва дружно летела на лесные просеки и еще теплое солнце заставляло сверкать все вокруг, на этих лесных просеках с непокрытой головой ходил Александр Петрович. Он шел неторопливой походкой, останавливался, словно прислушиваясь к лесному шороху и пению птиц, потом шел дальше и снова останавливался, и глаза его в эти мгновения блеснули какой-то особой глубокой родниковой чистотой. О чем он думал? О себе? О еще несовершенном? Или о том, что уже было сделано?

Его манили широкая степь, просторы; он уезжал к ним и снова возвращался сюда, в подмосковный лес. Большое сердце требовало лесного воздуха, тишины и покоя. Но разве были доступны ему тишина и покой? Разве мог он жить в отрыве от большой, насыщенной до предела исканиями и подвигами жизни?

Кто из нас забудет, что первое слово в нашей литературе о покорении космоса было произнесено Александром Довженко? Не писателями-фантастами, не научными популяризаторами, а именно им, Александром Петровичем, с трибуны II съезда писателей!

Когда в Колонном зале Дома союзов зазвучал его глуховатый голос, кто-то из сидевших рядом делегатов произнес:

— Довженко уже земли мало, таянет в небесах.

То ли это было осуждение, то ли удивление, трудно сказать. Но всей своей мудростью глубоко земного человека Довженко сердцем и разумом почувствовал это веление времени, путь человека в космос... И уже потом, когда Юрий Гагарин совершал первый облет земного шара, вспомнились вещи слова Довженко.

Нет, он не был замкнут в себе, не заключен только в свои раздумья, он был пытливым и к работе своих друзей. Какая была для меня неожиданность, когда однажды, на одном из первых спектаклей моей пьесы «Денги» в Малом театре, я увидел Александра Петровича и Юлию Ипполитовну. Для меня эта драма была в некотором роде особой. Я много ездил по Украине, Дону и Приазовью, прежде чем написал пьесу, в которой, как мне казалось тогда, столкнулись два человеческих начала: общественное и личное. Главные роли в

спектакле играли Вера Николаевна Пашенная, Михаил Иванович Жаров, Николай Александрович Анненков — талантливейшие, самобытные актеры русской реалистической школы. Признаться, я смутился, увидев Александра Довженко в зрительном зале. Слишком высоким и взыскательным судьей был он для меня.

В антрактах я не подходил к Довженко, не желая вызывать его на оценки пьесы. Но вот окончился спектакль, и уже в фойе я все же, робая, подошел к Александру Петровичу и Юлии Ипполитовне.

— Густо, густо, — сказал Довженко. — Есть противоборства... Конечно, могут некоторые и не понять... Но это сразу, а все в жизни проверяется временем. Спасибо, — проговорил он, чем и ввел меня уже в полное смущение. — И скажите Вере Николаевне, пожалуйста, Шарабайха — это писано для ее таланта.

— Я и писал эту роль, надеюсь, что Вера Николаевна увлечет она.

— Не ошиблись, — сказал Довженко и попросился.

...Так и остался он в памяти — высокий, седой, сосредоточенный, словно хозяин всего, что рождала и будет рождать земля, шагающий неторопливо по солнечным просекам далеко, далеко...

страницы воспоминаний

СОЛНЕЧНЫЕ ПРОСЕКИ

Анатолий СОФРОНОВ

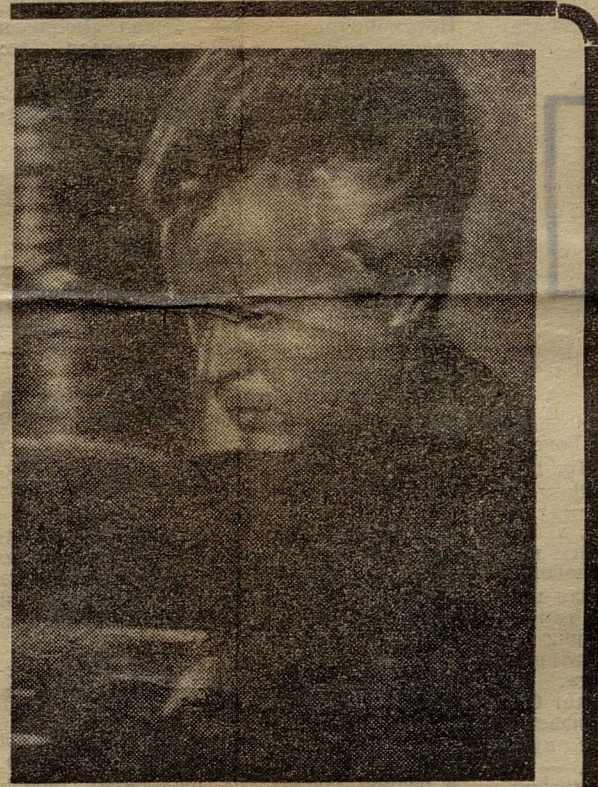
и какое-то расстояние шли рядом, похрустывая сапогами по льдистым в ту пору московским тротуарам. Тогда-то я и узнал о том, что Довженко, прервавший свой режиссерский труд на какой-то срок, по обстоятельствам, в которые он не считал необходимым посвящать меня, тем не менее целиком был погружен в изображение того, о чем он сосредоточенно думал.

— Газета — это тоже экран, — говорил он, — если нет в настоящее время условий заставить своих героев физически двигаться, необходимо дать им возможность так выражать свои мысли, чтобы создавалось впечатление полной жизненной достоверности тех, кому ты на этот раз даешь счастливую возможность выразить и их собственные мысли и, конечно, твои... Мы неотделимы друг от друга. Я должен знать и предугадывать поступки своих героев в зависимости от их образа мыслей.

Навстречу шли прохожие. Изредка мы останавливались, и Довженко, словно бы заметив какую-то необходимую ему подробность, чуть прищурившись, смотрел вдоль мостовой.

Я и сейчас вспоминаю эти, крупные для газеты, полурассказы, полужерны, а все вместе слав доженковских размышлений на страницах газеты «Известия». И еще я помню его постоянные рассуждения о земле, которая мать всему, начало жизни, она и добрая, и недобрая в том случае, если ты сам с ней обращаешься грубо, не по-сыновьи...

Потом, уже после войны, появилась кинокартина «Мичурин». Как и все, что создавал Довженко, она рождалась нелегко. Какие-то отголоски подробности рождения этого фильма докатывались и до тех, кто далеко стоял от кинематографа. Этот волшебник природы, великий селекционер, как бы отрешенный от тяготей обычной жизни, старый человек, неутомимый искатель, Иван Мичурин вдруг обрел земное воплощение среди цветущих садов, половодьем разлившихся на тамбовских просторах. Я несколько



А. П. ДОВЖЕНКО в монтажной.

Сколько яблоневых и сливовых деревьев было высажено руками Довженко!

Совсем седой, неторопливо выпавивал он по просекам рядом с Юлией Ипполитовной, из-под густых бровей неодобрительно поглядывая на участки тех дачников-новоселов, что торопливо очищали территории своих дач от дубов и сосен, чтобы разбить на их месте цветочные клумбы и грядки для клубники.

Увидев как-то по случайности оставшийся безлесным участок Тихона Захаровича Семушкина, чьи немногочисленные книги он глубоко любил, Александр Петрович открыл калитку и зашел к Семушкину.

— Это неправильно, Тихон Захарович, — сказал он.

— Что, Александр Петрович? — удивленно спросил Семушкин.

— Неправильно, что ваша земля, такая благодатная подмосковная земля, пустует.

— А тут вокруг деревьев много, — сказал Семушкин.

— Все равно неправильно... Земля не может пустовать. Люди, живущие на этой земле, не имеют права пренебрегать землей.

— Я подумаю, — растерянно проговорил Семушкин.